Leonid Plyushch, interview with Philip Boobbyer, Paris, March 1997, transcript in Russian and English

Часть 1.

Ф: Расскажите чуть-чуть в начале о себе, где Вы родились, и какие были самые яркие влияния Вашего детства?

Л: Я родился в Киргизии. Потом, перед войной родители уехали в Украину. С Украины, потом опять во время войны, пришлось ехать в Киргизию, потом опять на Украину. Но я всегда себя ощущал, что я родился в Украине. Если рассматривать с точки зрения моральных воздействийб то, пожалуй, на меня самое большое, как я теперь задним числом вижу, влияние оказала моя бабушка.

Ф: Я читал об этом.

Л: Да, бабушка. Она была очень такая фанатично-верующая христианка, она была, как у нас называют, ворожка, шептуха – она молитвой лечила детей. И ее образ постоянно где-то находился. Даже потом, когда я, под влиянием учителей, стал атеистом, потом я русифицировался, был абсолютно русифицированным, таким фанатичным комсомольцем, но внутренне всегда ее образ стоял передо мной. И поэтому у меня всегда был большой интерес к вере, религии, психологии и так далее, даже когда я был атеистом. Вот это, пожалуй, один из самых первых таких импульсов.

Ф: Я это читал в Вашей книге, я помню. Почему так было? Она была добрым человеком или разговаривала о важном?

Л: Когда живешь в этой атмосфере, когда каждый вечер приходят люди, она лечит и лечит, непонятно как... И потом, что мне в школе ни объясняли, я видел что, это ничего не объясняет – как она лечит. Поэтому у меня всегда был острый интерес психологии: как это может происходить? [Это то], что мне не давало до конца быть таким полным, бездумным атеистом. То есть я был атеистом, но всегда понимал, что там что-то более глубокое, чем на поверхности.

Ф: В Вашей книге, [где] Вы описывали все Ваши разговоры с учителями по атеизму и т.д., Вы описываете этот процесс – [переход] от веры к атеизму, но не от атеизма к вере.

Л: Ну потому, что когда я писал книгу, я еще оставался атеистом. В этой книге я пишу о своих религиозных размышлениях, но я еще не был верующим. Я был в развитии. Просто теперь, задним числом, когда я прошел какой-то путь, я всё больше и больше понимаю значение для меня вот этих первых детских впечатлений: бабушка, церковь и прочее.

Ф: Даже когда Вы были атеистом?

Л: Да. То есть это меня заставляло все время искать какие-то корни. Но я тогда думал, что это все можно свести к психологии, которой мы не знаем. Потом это перешло в

интерес к парапсихологии, потом психоанализу – ну, это сравнительно частый путь от марксизма через психоанализ к духовным проблемам. Когда я сюда приехал, мои друзья сказали: “Ты думаешь, что ты фрейдист, а ты юнгианец!”; а я Юнга не знал. (Смеется)

Ф: Когда Вы были атеистом, это было время, когда Вы начали участвовать в движении по правам человека и т.д., и в Вашей книге, Вы замечаете – и по-моему ваша жена тоже это замечает – враждебность ко лжи. И это как-бы указывает, довольно сильно, на совесть. Откуда это чувство?

Л: Ну вот для нас [это было] очень важным моментом. Вот, я был достаточно верующим комсомольцем, я верил всему тому, что нам говорят: я видел, что плохо живут люди, но я это я верил объяснениям, что, вот, была война, капиталистическое окружение… – обычные объяснения, которые были. Но когда вдруг мы узнали о том, что Сталин – негодяй, – сначала до нас доходили слухи, а потом уже прямо стали об этом говорить – то как-то сразу все обрушилось: вера в партию, в правительство; вместе со Сталиным обрушилось и многое другое. И тогда мы поняли, что вот нас обманывали. И вот этот протест [был против того], что нас обманывали, что мы были какими-то пешками, в какой-то игре обманной, – это очень неприятно для себя ощущать, что ты не человек, а пешка; ты просто предмет для манипуляций – и вот тогда у очень многих появилась ненависть ко лжи. Я думаю, это один из самых важных моментов. Почему в целом диссидентское движение – это движение за знание истины, до конца.

Ф: Это, конечно, очень интересно.

Л: В диссидентское движение вошли по разным мотивам, и люди разного возраста, но люди моего возраста, для них самым важным был 20й съезд, который вдруг открыл, что нас обманывают.

Ф: Это интересно. Это указывает [о]сознание этой фальшивости, что это не было нейтральным смотрением на жизнь, но [реакцией на то, что были фальш и обман].

Л: [Был] обман.

Ф: Это интересный момент. [Тот факт], что кто-то обманывает был важен в создании этого чувства.

Л: Это очень важно. И важно то, что мы – предмет манипуляции. Мы – не люди, а пешки в какой-то огромной игре, мы – ничто, мы – ноль. Я думаю, это даже важнее, чем проблема истинности – истинности информации; это проблема ощущения, что нет мы-личности. Я думаю, что вот это самый важный нравственный элемент в диссидентском движении: мы – личности, мы хотим быть личностям, мы не хотим быть объектами каких-либо манипуляций. В этом плане, я думаю, диссидентство, независимо от его тенденции – я был коммунистом, марксистом, кто-то был антикоммунистом, анти-марксистом – но всех объединяло вот это требование

личностного начала. Мы прежде всего личности и хотим остаться личностями – хотим *быть* личности.

Ф: Мне было не совсем понятно – это тоже из Вашей книги – почему Вы, [видя] всё это пошли на путь сопротивления, а Ваши друзья, например, которые тоже видели эти вещи, нет?

Л: Эта проблема, видимо, уже выбора: ты можешь приспосабливаться или не можешь приспосабливаться. Вначале я пошёл по комсомольскому пути – что нужно переделать внутри самой партии. В партию я уже не верил, но думал, что мы – молодёжь, придем к партии, мы обновим её – это такой реформаторский [процесс] изнутри. Это иллюзия такая была. Потом – так как Вы читали книжку, Вы знаете – были попытки разного типа что-то переделать изнутри. И каждый раз ты встречался с какой-то огромной ложью. Ты понимал, что то, что ты делаешь, не имеет никакого значения, ты всё равно участвуешь во всеобщем обмане.

Поэтому вначале я шел в легкую кавалерию, в комсомольские какие-то движения, потом была попытка переделки где-то снизу, в сельской школе... И каждый раз я убеждался, что здесь ничего нельзя переделать изнутри, потому что приходил к выводу о том, что вся система прогнившая. Тогда была попытка приспособиться. Я решил, что я буду просто математиком, ученым, исследователем – это то, что называется философия маленьких дел – каждый на своем месте, пусть делает свое дело – то, что он умеет делать, на что он способен. И так всё вместе переделается. Но потом я увидел, что где бы ты ни работал, тебя все равно заставляют участвовать во всеобщей лжи. Это опять-таки проблема истинности, но уже истинности не в смысле информационном, а истинности самого себя: Я есть истинный? В самом деле что-то настоящее или я тоже такой же фальсификат, как и всё вокруг меня? Другие искали себе ниши, где можно спрятаться и не участвовать во всеобщей лжи. Это был тоже такой путь – где-то быть в стороне от всего; многие пошли по этому пути.

Ф: У меня были интервью с людьми, которые откровенно так говорили.

Л: У меня на работе, я единственный был марксистом – у меня в лаборатории; все остальные были анти-марксистами. Но для них не было шоком участие во всеобщей лжи, потому что они заранее знали, что это всё ложь – ну вот такие правила игры.

Ф: Не совсем ясно, почему *Вы* сделали этот выбор? Давление на людей было довольно сильным, и те, кто выбрал более [смелый] путь, их было очень мало... Это не было, как мне кажется, только проблемой выбора: этот путь или тот путь. Наверное был какой-то кризис или внутренняя дискуссия? Или может не было...?

Л: Ну меня, если говорить лично обо мне, всегда, со школьной скамьи, где-то с конца школы, всё время интересовала проблема смысла жизни. Я всё хотел ее теоретически решить.

Ф: Из-за бабушки?

Л: Видимо за этим стояла вот та вера, возможно. Но просто есть какой-то тип людей, которые всю жизнь интересуется смыслом жизни, почему – непонятно. Но это если говорить о чисто личностном. И когда стало понятно, что это не теоретическая проблема – проблема смысла жизни – это практическая проблема, не может быть абстрактного теоретического решения проблемы смысла жизни – сама жизнь есть осуществление некоего смысла. То есть нельзя разрывать. Поэтому мне очень близок был Швайцер, который считал, что жизнь есть философия. Но это уже потом, когда читал Швайцера, он как-бы подтвердил эту точку зрения.

Ф: Вы сказали, что замечали, что русское/советское диссидентство жили и думали традициями общей русский интеллигенции, как например, традиции сопротивления прошлого века... Смотря на Ваш опыт, думаете ли вы, что это было чувство наследия интеллигентских традиции или Ваш путь к диссидентской позиции был [основан] на личном опыте?

Л: Нет, тут парадокс советской власти. Как ни странно, она сама, воспитывая в коммунистическом духе и препарируя историей, при этом давала какие-то образцы, не совпадающие с ней самой. Поэтому те школьные традиции – в конце концов учителя тоже не все сознательно врали, учителя по-своему верили и нам передавали что-то из русской, украинской традиции... Потому что на Украине всё-таки была своя специфика, украинская какая-то традиция, традиция казачества, свободы. Поэтому на Украине никогда, в общем, не было тенденции к монархии, например, к идее самодержца или ностальгии по прошлому – «Вот была когда-то Великая держава Россия...» На Украине это несколько иначе было. Но, конечно, были эти традиции. Поскольку я себя считал коммунистом, то в наличие были традиции революционной интеллигенции, о которых нам рассказывали, пусть лживо, но рассказывали в школе. Поэтому были какие-то образцы вот этих свободолюбивых революционных начал, которые некоторое время я воспринимал, ну как коммунизм. Поэтому здесь нельзя, конечно, свести только чисто личным, индивидуальным переживаниям, но [вместе] со своеобразным воспитанием школьного типа. Только одни отсюда делали [один] вывод: когда поняли, что это всё ложь, так они это тоже перечеркнули. Я не перечеркивал, что это *всё* ложь. Когда в школе у меня был первый кризис после 20го съезда, я увидел, как многие мои знакомые просто стали циниками: «Это все ложь, и я участвую в этой лжи. Я плевал на это. Все эти красивые слова, нравственные слова – ложь». Я где-то себе поставил цель – никогда не прыгать с одной позиции на другую, но обдумывать переход от одной позиции к другой.

Ф: А какие позиции конкретно?

Л: Ну вот я был верующим сталинистом и т.д. Потом я увидел, когда я понял, что это ложь, что рядом со мной друзья, которые думали так же как я, а стали циниками. Я понимал, что это позиция цинизма. Мне [это] было неприемлемо. Я понял что, *можно* прыгнуть от одной позиции полностью к противоположной, [но] поставил себе цель никогда не прыгать.

Ф: Вы это сознательно?

Л: Сознательно.

Ф: Когда?

Л: Ну вот, например, когда в тюрьме – это я как пример привожу – у меня стали нарастать какие-то религиозные ощущения, мысли, чувства, то я тоже себе решил, что в период кризиса человек хватается за Бога как поддержку, как за костыли; что это нечестное отношение к Богу. Я поставил себе цель, что если я стану верующим, то я стану верующим, не будучи в состоянии кризиса.

Ф: Интересно, как Вы смогли принять такое решение – сказать, что я буду только [переходить] от одной позиции к другой, не становиться циником, когда все вокруг вас циники – это очень [тяжелое] решение. [Возможно] это просто мистерия жизни, но интересно, почему эти люди стали циниками, а Вы не стали?

Л: Ну потому, что я в Одессе жил, даже не в самой Одессе, а в пригороде Одессы. Это очень низкий социальный уровень. И стать в этих условиях циником – это стать хулиганом, вором, спекулянтом, то, что называют блатным; девушкам - проститутками и т.д. Это такое решение очень простое: либо ты становишься хулиганом, вором, спекулянтом и т.д., либо нет – там не было каких то других [вариантов], не было горизонтов.

Ф: Так [сложились] обстоятельства в Вашей ситуации, что не было какого-то среднего пути?

Л: Да, для меня это был социальный низ, из которого я старался все время вырваться. Из этого социального низа, где было очень противно.

Ф: То есть, в каком-то смысле, это не было [только] моральным решением, это было решением в Ваших интересах?

Л: Пожалуй да. Но мне интересно было стать ученым и прочее, и в то же время не быть вот таким спившимся циником, что всё в жизни – ноль. Некоторые мои школьные друзья считали, что – как они выражались – все говно. Я понимал, что если сказать, что все вокруг меня говно – merde (Франц.), тогда жизнь не имеет никакого смысла. Поэтому это трудно сказать, где тут мораль, а где просто выбор.

Ф: Конечно, конечно, это очень трудно. Я понимаю.

Л: Тут невозможно разделить это. Просто мне не хотелось жить в говне, в таком случае (Смеется) Очень просто.

Ф: Да, да...

Л: Жить, считая, что это всё несерьезно, ну а зачем тогда жить?

Ф: Были ли моменты в Вашей жизни, в тюрьме или до тюрьмы, когда было сильное, можно сказать, искушение солгать?

Л: Было. Ну когда, например, я понял, что буду заниматься наукой, что я не буду заниматься общественными делами – они меня не интересуют, я ничего не могу в этой области сделать. Если я занимаюсь наукой, то нужно идти на компромиссы. Казалось, что можно пойти на компромиссы, до каких-то пределов. Вот дойдешь до этого предела, а дальше не [идешь]. Но потом я видел, что это очень трудно сделать, то есть лгать в рамках приличия. Ну вот когда, допустим, погибли космонавты. Я знал, что мы участвуем в этой гибели. Наша лаборатория занималась космическими проблемами, значит наша ложь туда чуть-чуть добавилась, значит мы всё равно создаём эту лживую систему, и я в этом участвую.

Моя жена сначала работала в детском саду – занималась литературой, и там приходилось лгать. [Нужно было] бороться за то, чтобы для детей издавались книжки, она старалась [чтобы был] минимум лжи. Но все равно нужно было идти на эту ложь. Она не хотела, ушла оттуда, занялась игрушками, думая, что с игрушки уже не [будет] никакой идеологии. Оказалось, в конечном итоге, что ей всё равно приходилось лгать и выхода не было. Ты все равно участвуешь в этой лжи и доходишь до пределов, когда [надо] сказать нет; и ты всегда подходишь к этому пределу. И вот теперь задним числом, я встречаю своих друзей, которые пошли по пути либо компромисса, либо вот этой ниши, где можно [было] спрятаться, подальше от всех... Я сейчас, задним числом, смотрю – мы же тогда спорили, кто выбирает более правильный путь – и теперь я вижу, некоторые из них, например, пошли по пути, что [мол] я в своей области сделаю что-то очень важное, ну [пойду] на маленькие компромиссы – это не страшно, но зато я добьюсь чего-то очень нужного, важного в какой-то области, в искусстве, в науке... И теперь я читаю их работы... Действительно, они имели, в отличие от нас, время на профессиональную работу, достигли каких-то успехов. Я читаю их работы и мне всегда их жалко, что такой большой талант растрачен по пустякам. То есть они ничего не выиграли на этом пути. Они думали, что у них будет больше возможности, чем у нас – и это правда – у них было больше профессиональных возможностей, но я читаю их работы – вижу замечательная работы – и каждый раз у меня ощущение, что это, знаете, как вино, которое перестояло и скисло. Вот для меня, почти все, кто пошел по пути компромисса – это скисшее вино. Это талант, который все-таки не сумел себя проявить.

Ф: Это, конечно, интересный момент, потому что, например, в религиозной литературе вообще замечают, что когда люди не слушают совесть, совесть как-бы теряет свою тонкость. И я думаю, что тонкость [и] совесть не совсем отделимы от разума. Качество разума, качество ума связано с качеством [нравственного] чувства.

Л: Да, Вы знаете, я для себя даже такое определение ввёл: глупость это нравственное качество. Человек глуп – дурак, по каким-то причинам нравственным. Он себе что-то перекрывает, и потом шаг за шагом оно ограничивает, ограничивает, ограничивает его, и он [становится] глуп. Я в своей книге об этом вспоминаю, когда мне предлагали вступить в партию, чтоб помочь мне сделать партийную карьеру, чтобы умные, честные люди [имели] власть в партии, чтобы в конечном итоге ее переделать там, наверху. В нашем Институте Кибернетики, была такая идея у самого шефа – Глушкова. Он стал членом ЦК партии. Я теперь вижу, у нас на Украине Институт Кибернетики был один из самых передовых, благодаря вот Глушкову и другим, а сейчас колоссальное

отставание в компьютерах всего Советского Союза и Украины. В мое время не было такой колоссальной дистанции. Значит, они для развития кибернетики пошли на компромиссы с совестью – Глушков и другие. Они будут командовать парадом, как члены ЦК, будут развивать науку, [а] в результате сам Глушков стал тормозом; мне его ученики говорили, что он навредил науке, мешал её развитию. И наш институт в конечном итоге стал реакционным, не прогрессивным.

Ф: Он сам менялся как человек?

Л: Да, мне уже тогда, когда мы дискутировали этот вопрос, было понятно, что по мере того, как я буду проходить партийную карьеру в ЦК партии – как тогда говорили, я буду постепенно терять то, ради чего я туда пойду.

Ф: Вы уже осознали это?

Л: Да, я уже тогда сам стану негодяем. И когда я встретился с Глушковым – я к нему пришел, чтобы он подписал как член академии ЦК партии [мое] письмо протеста – я уже увидел перед собой негодяя.

Я здесь встретил одного человека, не с Украины, который бежал сюда. Вот он точно так же принял решение когда-то в школе, что он сделает партийную карьеру для своей нации. И потом он бежал сюда, на Запад, и объяснял мне, почему он бежал. Он уже достиг очень высокого уровня – это в Эстонии было, и рассказал, что как-то раз он вдруг резко понял, что он пошел туда, чтобы защищать свой народ, а уже давно сидит у врага, по ту сторону фронта, и что он борется против своего народа. Поэтому он бежал на Запад.

(Телефонный звонок. Запись прервана)

Л: [...] [Меня] лично, даже в области психологического, очень интересует этот процесс перерождения духовной ткани...

Ф: Да...

Л: ... в этих процессах. Перед арестом я уже начал было писать статью для самиздата, где я хотел описать психологические типы советских людей – что с ними происходит психологически по тем или иным путям, но я не успел тогда...

Ф: Из моего опыта, моя совесть, как бы, рождается в ситуации, когда я делаю что-то, [от чего] мне [становится] неловко. Я чувствую, что это нехорошо, что в следующий раз нужно сделать [иначе]. Это часто [возникает] из опыта, может быть, но мне интересно, были ли моменты, когда Вы перешагнули через какую-то линию и потом думали, что [пошли] против Вашей совести?

Л: Нет, ну такие ситуации возникали сравнительно часто. Я, например, описал одну ситуацию, когда ещё будучи в университете, ещё не будучи диссидентом, я согласился

следить за одним чехом. Когда КГБ мне сказало, чтобы я за ним смотрел, я решил обмануть КГБ – [сказать], что я согласен, но конечно, я для себя принял решение, что я не буду доносить на этого чеха. Потом я уже понял, что идти на эти игры нельзя. Как только ты начинаешь играть, ты обязательно попадаешь в какую-то ситуацию, которая тебя потом втягивает дальше. После того, как я с ним (чехом) поговорил, он тут же намекнул мне, чтобы я следил за кем-то из студентов.

Но еще чаще эта ситуация возникала тут на Западе. (Смеется) Потому что *там*, как это ни смешно, это проще: ты выбираешь позицию, и уже когда ты выбрал позицию, то у тебя уже идет противостояние – плюс-минус, добро-зло, чёрное-белое – нет сложных проблем. А на Западе это всё гораздо сложнее. И часто в политической борьбе здесь, на Западе, ты попадаешь в ситуацию, когда ты вынужден пойти на какой-то компромисс, [например] ты считаешь данного человека абсолютно негативным, но ты вынужден с ним как-то кооперироваться, или ты понимаешь, что нужно было бы в этой ситуации заявить следующее, но сейчас ситуация для какого-то заявления неудобная, и ты ждёшь... И потом, через некоторое время оказывается, что ты попал в очень некрасивую ситуацию, что тебе [нужно было] пойти дальше, чем ты думал. И возникают сожаления – зачем я пошел на этот компромисс? Обычно этот компромисс, в результате, ничего не дает. Даже с чисто прагматической точки зрения: ты это сделал ради успеха, борьбы, а в результате успеха не было. Обычно это всегда так. И ты только морально проиграл и ничего не выиграл.

Я думаю, вот большой успех нашего движения здесь, на Западе – нас было очень мало, когда, когда мы здесь появились – но мы достигли за свое время достаточно большого успеха здесь потому, что мы не врали. Это было единственное наше оружие здесь – мы никогда не врали. Как только мы начинали дипломатничать, мы стали проигрывать. Как только мы [начинали] вести прагматическую политику, мы стали проигрывать.

Ф: Я хочу задать Вам более трудный вопрос из этой области... У меня было впечатление, что любовь к правде, любовь к истине диссидентства часто больше всего [выражались] в политической области, что моральные вызовы в жизни [воплощались] как-бы в политической сфере: враг или не враг... У меня вопрос, была ли эта вера в истину так же сильна в личной жизни диссидентов?

Л: Не у всех. Очень не у всех. Возникали такие ситуации, когда я видел, что вот этот человек в жизни часто врёт, врёт по отношению к друзьям, по отношению к кому-то... Но так как нас было очень мало, то рвать здесь со своими? Нехорошо... Это опять-таки проблема прагматики. Такие ситуации возникали. Я лично старался с такими людьми не иметь дел. Но конечно, бывали компромиссы. И потом обычно оказывалось, что это плохо политически. То есть обычно человек, который в личной жизни лжив, потом это сказывалось и политически. Но конечно, это опять-таки, особенно на Западе, часто бывали ситуации, когда я не решался рвать с каким-то человеком. А потом это оборачивалось нехорошо.

Ф: С другой точки зрения, думаете ли Вы иногда, что, те кто думали, что их вера к истине была искренна, на самом деле [заблуждались], что это были всего лишь их

взгляды. И потом, взгляды часто разделяют людей... Я иногда думаю, что диссиденты были так уверены в своих взглядах – и не только в убеждениях о вере, что их взгляды разделяли их, когда это было не нужно. Вы понимаете?

Л: Тут действительно... Вот есть такие слова искренний и правдивый. Я разделяю эти понятия, можно быть искренним, то есть верить в то, что ты говоришь, но при этом говорить неправду.

Ф: (Смеется) Конечно.

Л: Это искренний человек. Я обычно таких людей уважаю, все-таки, потому, что они делают соответственно тому, во что они верят – это всё-таки лучше, чем ложь. Но это всегда очень опасно. Одна из причин борьбы между диссидентами это, в частности, вот это различие, когда [они] начинали между собой дискутировать, доказывая, что это не так... Тут еще есть проблема фанатизма: некоторые диссиденты просто фанатики той или иной идеи. Для меня лично, человек – выше, больше, чем какая-либо идея. И потом быть фанатиками какой-то идеи – это значит быть уверенным, что истина с тобой. А у тебя нет гарантии. Это то, что я, в частности в дискуссии с Солженицыным, пытался, защищая плюралистов, ему сказать – что я признаю понятие абсолютной истины, но считаю, что абсолютная истина только у Господа Бога, никто из людей не может претендовать на знание абсолютной истины, на абсолютную уверенность. Но это может быть потому, что я математик? Поэтому я всегда оставляю возможность неуверенности в вопросе. Но действительно, элемент вот такого фанатизма был.

Потом был еще третий феномен, который разделял между собой, приводил к ненужным спорам между диссидентами. Очень часто [так] бывает – это фрейдовский феномен – [что например] я не люблю какого-то человека, я с ним поссорился из-за пустяка... А потом этому придается какая-то идея, содержание, хотя этого идейного содержания нет. И получается очень лживая ситуация. Поэтому лично для себя я старался не участвовать в этих всех меж-диссидентских дрязгах. Очень часто это не принципиально. Но этот элемент был, конечно.

Ф: Из этой области... Вы пишете в Вашей книге о рождении националистских интересов [по отношению] к Украине... Был ли у Ваш интерес к морали связан с интересом к нации?

Л: Я начинал путь как коммунист-интернационалист, русскоязычный, русифицированный украинец. Я не видел никаких особенных проблем специфических украинских, поэтому первые национальные проблемы, с которыми я столкнулся, были те, которые лежали на поверхности. А на поверхности были две национальные проблемы: еврейская – антисемитизм и крымские татары – депортированные народы. Это то, что сразу видно было, что тут [были] несправедливость, и ложь. Так или иначе, эти два народа были репрессированы. Потом я узнал о проблемах микро-народов: эскимосов, чукчей и т.д., начал понимать балтийскую проблему... Так что к украинской [проблеме] я подошел, как ни смешно, гораздо позднее. Когда я начал [понимать], что происходило, и происходит, в области украинской национальной политики, она оказалась гораздо сложнее. Поэтому [это пришло] гораздо позже, но тогда

действительно встал вопрос, а почему я не интересуюсь проблемами собственной нации? Причем я увидел, что это в большой степени зависит от [языка] – пока я не заговорил по-украински, мне никогда в лицо не говорили: Говори со мной по-человечески. Так что это надо было пережить на собственном опыте, чтобы понять такие вещи. Потом опять же, я человек, в то время, далекий от филологии, литературы... Как математик, я не понимал значения языка. Мне казалось, что если все будут говорить по-английски, например, то какая разница? Пусть весь мир говорит по-английски – это гораздо проще; это такое чисто примитивно-техническое отношение. Когда, встретившись с украинскими националистами, я стал их расспрашивать, а какой смысл в сохранении языка, зачем сохранять, что это дает, никто из них мне не смог ответить. И я сам стал этим заниматься. Насколько это..? Нет, ну тут тоже были нравственное импульсы том смысле, что, когда я узнал о голоде на Украине, когда я узнал, что людей преследует только за то, что они говорят по-украински, только за то, что они отстаивают право своей нации на существование. Это где-то взаимосвязано было. В результате оказалось, что это те же самые импульсы, что и те [что были связаны] с антисемитизмом или депортированными крымскими татарами. Просто разница между еврейской проблемой и украинским была в том, что если еврей хочет быть русским, ему не дают быть русским. Ему говорят, нет, ты жидовская морда. Если еврей хочет быть евреем, ему говорят, ты – еврейский националист. У него вообще нет [выбора]. Если он хочет выехать, ему говорят, ты – сионист. То есть еврей-русский – не проходит, еврей-еврей – не проходит, еврей уезжающей – не проходит. Во всех случаях он плох. Это какой-то бред.

С украинцами гораздо проще [...] (Запись прервана)

Часть 2.

Л: [...] а меня никто не спрашивает... Но мне кажется... Вот почему украинская национальная проблема гораздо сложнее и тоньше, чем еврейская или депортированных татар, потому что это уже затрагивает духовное существо человека. Проблема нации как-то глубинно связана с какими-то духовными вещами, которые невозможно... То есть вот это право на то чтобы быть личностью глубинно связано с правом быть украинцем, евреем, кем угодно, или не быть. Это все та же самая проблема самосохранения личности.

Ф: Да, я согласен. Я брал интервью у одного русского ученого, который сейчас работает у Горбачева. И он рассказал мне, как он во время 80х годов начал думать более глубоко и интересоваться русским национализмом. И потом тоже стал очень религиозным. Я ему задал вопрос: был ли его интерес к нации причиной его интереса к религии. И в самом деле, часто, православие, например, [считается] почти национальной религией, не чистой религией, а национальной верой, можно сказать. Но мы не пришли к заключению в этом вопросе, потому что [здесь] довольно тонкая линия, между интересом к нации и интересом к религии. Я просто имел в виду, что у украинцев наверное есть очень сильная вера в Украину, например, и тоже большое

подозрение к русским. И люди [воспринимают] эту веру [как] риторику моральную, но в самом деле, это не моральная риторика, а более политическая.

Л: Вот я очень боюсь этой путаницы национального и религиозного, что есть большая опасность смешать эти две грани человеческого духа. Вообще для нас, для славян – это мое общее впечатление – свойственно связывать все в один комплекс. Например, слово правда, которое охватывает три разных понятия: истина, справедливость и правота. И это все смешано в одном. И вот то, что я говорил об искренности, это комок спутанный. Вот [где] Западная Европа, на мой взгляд, имеет преимущество – это умение разделить разные плоскости, не сбрасывать все в одну кучу. Поэтому когда путают нацию и религию, я считаю, это очень опасный путь, потому что он тогда подменяет Бога чем-то, или наоборот нацию подменяет чем-то. Но я это для себя называю, что украинцам нужно... [неразборчиво] немножко умение разделить эти [понятия].

Ф: Но корень вот этого – видеть добро, например, в нации Украины и зло в другой нации, России например...

Л: Есть такая опасность. Причем опять-таки очень важный момент, для меня лично: нельзя быть националистом не будучи интернационалистом, и наоборот – нельзя быть интернационалистом не будучи националистом. Всякая попытка разорвать – мы уже знаем две крайности – коммунистический интернационализм, абстрактный, который привел к национализму, и нацизм.

Ф: Но было ли когда-либо для Вас искушением видеть, [что] демократическое движение – [это], например, хорошо, а [коммунистическая] система – зло? Тоже [принять] этот менталитет – они и мы, который в [каком-то] смысле противоположен глубокой моральной системе.

Л: Они и мы – это в каком смысле?

Ф: Они – бюрократы, номенклаторы...

Л: А мы – хорошие..?

Ф: ... и мы. Да. С одной стороны ваша мораль – верить, что каждая личность важна и что внутри себя [идет] борьба между добром и злом и т.д., но в самом деле риторика создает мораль – *они* злые, а мы представляем добро.

Л: Я, в общем, достаточно скептичен, мне кажется, поэтому... Нет, конечно такие моменты были, когда мир вдруг оголялся и превращался в это манихейское противостояние мы – это хорошо, они – это плохо. Такие моменты конечно были. Но потом приходила рефлексия, и я видел своих товарищей и самого себя, и понимал, что мы – не есть носители абсолютного добра.

Ф: (Смеется)

Л: ...а они в свою очередь не являются носителями абсолютного зла – это их точка зрения, коммунистическая точка зрения – манихеизма. Мы не должны болеть их болезнями. Поэтому когда я попал в тюрьму, я понимал, что в тюрьме вот это манихейское противостояние особенно опасно, потому что ты уже стоишь в позиции полной обороны, и тебе важно закрепить, как-будто ты весь окружил себя щитами, тут идет чистое противостояние. И я понимал, что я могу озлобиться. И тогда я сам буду носителем зла, противопоставляя этому злу...

Ф: Вы поняли это в тюрьме?

Л: До тюрьмы. Мне очень нравилось – я прочитал у Камю, и в одной своей самиздатской работе я цитирую Камю – слишком длительная борьба за справедливость приводит к исчезновению мотивов [из-за] которых эта борьба возникла. Потом я уже нашел у одного украинского писателя аналогичную мысль: там один священник начинает борьбу *из любви*, а под конец превращается в бандита, и он забывает слово любовь.; ну так это, в литературе...

Ф: Понятно.

Л: Ну это приблизительно то же самое. И потому что я долгое время был коммунистом, я пытался понять почему коммунисты переродились. Я видел вот эту злость борьбы, ненависть борьбы. Поэтому... Это перед арестом...

Ф: Были моменты, когда Вы могли озлобиться?

Л: Я замечал за собой элементы такого озлобления и все время молил...

Ф: Вы можете рассказать об этих моментах?

Л: Ну вот когда у меня были первые допросы, например. Они знали, что я против такой позиции и говорили, вот Вы озлобились. И действительно, я чувствовал в себе озлобление. И тогда я сам пытался себя уговорить, что они жертвы этого режима. Они – не просто палачи, но одновременно жертвы этого режима.

Ф: Но люди разные, есть такие, которые могли озлобиться, а Вы не озлобились. Какие внутренние ресурсы помешали Вам озлобиться? Потому что это довольно важно...

Л: Ну во первых, я знал об этой опасности, я интересовался психоанализом. Перед арестом я года два изучал Фрейда и понимал опасность подмены, что любая эмоция может подменить другую эмоцию. Потом у меня есть работа в Самиздате об установке. Я ее назвал «Этическая установка», Вы не читали?

Ф: Нет, я [видел] Вашу книгу и хотел прочитать, *Moral Orientation* по-английски.

Л: Я могу Вам дать, у меня где-то по-английски даже есть. Вот. (Показывает) Этическая Установка.

Ф: Да, я заметил.

Л: Где я, еще будучи коммунистом, сформулировал... То есть я изучал установку по теории Узнадзе – это грузинский психолог, и понял, что если ты делаешь установку на зло, то ты его получишь. Если у тебя установка ожидания негатива, то ты способствуешь приходу этого негатива. Если ты пессимист, то ты провоцируешь плохой тип развития. Ну и для меня основная проблема была – как это соотносится с прагматикой. Ну и в частности, меня тогда очень заинтересовала проблема Христианства, какова правда Христианства – что принес Христос, скажем, подставив вторую щеку? Никто этого не делает на практике, никто не подставляет вторую щеку. Я знаю из опыта, когда подставишь вторую щеку, то чаще всего ничего хорошего из этого не получится, лучше все-таки иметь кулаки. Но тогда получается, что Христианство – это ложь. Я пытался понять, в чем правда Христианства и пришел к выводу, что все-таки, пусть это достаточно непрагматично, но, [пойдя] по этому пути, мы можем провоцировать позитивное развитие.

Так что, это я все, более-менее, обдумывал перед арестом. Тем более что я уже встретил в Москве, и в Украине, некоторых озлобленных. Я описываю одного чекиста в своей книге, который отсидел и ненавидел весь мир. И тогда вставал вопрос: в чем же разница между его палачами и им самим? Тогда никакой разницы нет – ради чего мы боремся?

Это опыт других людей, но, пожалуй, на эту тему озлобления... Уже здесь, когда был Конгресс психиатров в Гонолулу, и я выступал на этом конгрессе в качестве свидетеля. Я увидел моих палачей побежденными, и у меня был какой-то момент злой радости: вот вы здесь потерпели поражение.

(Телефонный звонок. Запись прервана)

Л: […] Вот здесь по-английски...

Ф: А, да. Это по-английски как, The case of..?

Л: Да, да.

Ф: Я не читал.

Л: Если будете читать, то там есть две-три ошибки, которые были сделаны в Самиздате. (Смеется) Их надо исправить, потому что иначе мысли искажаются. (Пауза) Ну вот одно из определений диссидентского движения – это нравственное сопротивление. Я думаю, это очень правильно, потому что мы не были революционерами в классическом смысле этого слова. И даже почти никто из нас не думал, что коммунизм [может] вот так лопнуть. Поэтому казалось бы, это было безнадежно, заведомо проигранная борьба – коммунизм стоит очень крепко. И мы – не революционеры, что ж мы выигрываем в этой борьбе? А выигрывали, я думаю, мы самое важное – выигрывали мы собственную душу. Ну вот в тюрьме – я об этом в своей книге пишу – казалось бы, там очень просто, надо было просто подписать – согласиться [с тем, на] что врачи настаивали. Надо было согласиться, что я

действительно сумасшедший, я действительно вел себя неправильно и пообещать, что больше не буду. В принципе, я думал об этом варианте и готов был пойти на это – уйти в частную жизнь, личную жизнь, чтобы [мне] не сломали семью и все остальное. Но потом стало видно, что они потребуют большего – чтобы я предал товарищей, чтобы я на кого-то донес. Тогда я бы зачеркнул самого себя. Я бы спас свободу и свою жизнь, но что бы я на этом имел? Я бы себя не уважал. Мои друзья? Я бы их потерял. Мою семью..? Я бы потерял. Что бы я выиграл в результате предательства? Ничего. А так я понимал, ну они меня убьют – но в любом случае, я и там, и там теряю себя.

Ф: Вы сознательно обдумывали эти вещи?

Л: Взвешивал, да.

Ф: Это наверное было очень горькое время, когда Вы в тюрьме были?

Л: В псих-тюрьме – это, пожалуй, самое страшное. Самое страшное.

Ф: Почему это было так страшно, из-за наркотических препаратов или..?

Л: Да, да. Я просто чувствовал деградацию. Чувствовал, что у меня происходит деградация личности. Я превращаюсь в бревно бессмысленное. (Стучит по дереву) И потом мне один американский психиатр подтвердил, что при таком лечении, была такая опасность химической трансформации. Но опять-таки, я не был фанатиком каких-то моральных принципов. Я просто пытался трезво выбрать, взвесить насколько можно пойти на компромисс. И понял, что невозможно пойти на компромисс.

Ф: Как Вы справлялись с проблемой страха? Потому что страх может менять [рациональные] взгляды...

Л: Ну мне лично помог мой интерес к психологии человека, я пытался анализировать свои собственные страхи. Когда я выехал сюда, то еще долго на самом деле вот здесь, глубоко, сидел страх. Еще года два сидел такой иррациональный страх, и с ним приходилось бороться. Здесь уже.

Ф: Вы привыкли жить со страхом?

Л: Да, страхом, спрятанным в душе, загнанным туда, который я может даже и не понимал. Это, пожалуй, года два здесь еще продолжалось.

Ф: Интересно.

Л: У меня есть фотография в самолете. В какой-то момент меня журналист сфотографировал, у меня лицо испуганное. Так что это подсознательное.

Ф: Вы иногда описываете творчество Солженицына в своей книге. Ясно, что он повлиял на диссидентское движение, но как важны, Вы думаете, были его этические фразы, как например Жить не по лжи?

Л: Для меня лично, не очень важны. Он, для меня, был важен тем, что он сформулировал то, к чему мы все подошли, но еще не сформулировали. Вот скажем его *Жить не по лжи*, мне ближе формула украинского писателя Винниченко – *Честность с собой*.

Ф: Он современный писатель?

Л: Нет, он был одним из руководителей Украинской Республики. Ленин о нем писал, что он архиреакционный подражатель архиреакционного Достоевского.

Ф: (Смеется)

Л: Очень хороший, тонкий психолог. И у него есть роман под названием Честность с Собой. Его герой проповедует, что прежде всего нужно быть честным с собой – лучше врать кому-то, чем себе. И мне кажется это более важный принцип, чем Солженицынский – жить не по лжи, потому что самое важное – не по лжи по отношению к самому себе. Себе хотя бы не ври! Не обманывай себя, не строй иллюзий. Это та же проблема искренности.

Нет, ну Солженицынская формула и другие формулы, они достаточно хорошо выразили многое из того, что мы думали. И для меня тоже. Потом пришло разочарование Солженицыным, но это другая история. Но в тот период, на мой взгляд, он сыграл очень важную роль, именно потому, что большой писатель. Я дважды спорил с ним, у меня вышли две брошюры о Солженицыне, где я пытаюсь с его-же позиции спорить с ним самим. Когда он написал о плюралистах, я ему отвечал, что он нечестен по отношению к своим противникам: он как раз делает резкое деление на они и мы.

Ф: Да, это правда, через его работы...

Л: ...Они и мы. И в частности, нас – плюралистов – это они, это такие-сякие... Причем он нас не различает, потому что плюралисты между собой не согласны, это не одна точка зрения. Плюралисты бывают очень разные, в этом смысл плюрализма. А Солженицын всех нас – плюралистов сбросил в одну команду – это они, такие, сякие, плохие, нехорошие... И часто даже приписывает цитаты одного плюралиста другому. То есть, он не различает вот этого... Мне кажется, как раз Солженицын *в этом* отношении не диссидент, потому что он не носитель *личностного* начала. Он – носитель группового начала. А для меня – это отсталая позиция, не европейская позиция, потому что для меня Христианство это прежде всего индивидуальная религия, это личностная религия, а не родовая, не национальная религия. Она с одной стороны общечеловеческая, с другой стороны личностная религия. И Христос, для меня, принес личностное начало. А у Солженицына, личностного начала нет. Поэтому у него: мы – они, мы – они... И в этом [заключается] спор с Солженицыным.

Ф: Я должен буду выступать на съезде в Апреле с темой религиозный опыт и религиозное наследие советского диссиденства, и мне интересно, что на все эти годы

диссидентских действий и эмиграции и т.д., на все эти события можно смотреть с другой точки зрения, через религию, что все это было, как-бы, путем к Богу...

Л: Для меня лично, да. Вот я действительно испытал... Для меня был такой принцип, я его выработал еще перед арестом, что нет ничего негативного, что человек не может превратить в позитивное.

Ф: Да, это библейская, как-бы, фраза...

Л: И долгое время я не мог превратить в позитивный опыт псих-тюрьму. Это был для меня сплошной негатив, сплошной кошмар. Это был ноль, минус, это не было жизнь, я ничего хорошего оттуда не извлек, только ужас. Из псих-тюрмы. В тюрьме самой, я очень многое для себя получил, я очень много думал в тюрьме, это был очень позитивный опыт – тюрьмы. Но из псих-тюрмы – ничего. Прошло несколько лет и я увидел, что я ничего из псих-тюрьмы не извлек для себя. Я долгое время удивлялся, что у меня ничего не получается, это был только ужас.

Потом, когда я стал подходить к Богу, я понял, что это может быть ответом на прожитое в псих-тюрьме. Когда я стал приходить к Богу и понял, что Бог есть, то это был мой позитивный [опыт] – то, что я смог извлечь из псих-тюрьмы. Это мой путь, скажем, мой импульс. (Пауза) Скажем так, если есть полный минус, полная темнота, то выход отсюда только к полному свету. И это Бог для меня. Потому что, если Бога нет – это то, что я давно уже понял, тогда все бессмысленно.

Ф: Значит псих-тюрьма не вела Вас к Богу?

Л: А Бог [был] как ответ на псих-тюрьму.

Ф: Но это не [при]дает смысла...

Л: Самой псих-тюрьме?

Ф: Да.

Л: Псих-тюрьма обнажила, что все бессмысленно... Если Бога нет.

Ф: Вы в *то* время [пришли] к этому заключению?

Л: Не в псих-тюрьме. В псих-тюрьме было только сопротивление: я останусь человеком. Это было единственное.

Ф: Вы сейчас верующий?

Л: Да.

Ф: Этот опыт указывает, что если Бога нет, то все бессмысленно?

Л: Меня это толкнуло к Богу. Тот негативный опыт привел к Богу.

Ф: Вы думаете, что, может быть, Бог [использовал] этот опыт, чтобы создать путь к Нему?

Л: Я никогда не рискую за Бога говорить, что Он делает. Не знаю, что он делает... (Оба смеются) Благодаря этому опыту, я понял, что без Бога все бессмысленно.

Ф: Но это было после тюрьмы?

Л: Именно в тюрьме – не в псих-тюрьме – я об этом думал, я уже к этому шел. В тюрьме. В псих-тюрьме я ни к чему не шел. В псих-тюрьме я только сопротивлялся, хотел остаться самим собой, мне важно было сохраниться, сохранить себя и ничего больше. А уже после, была мысль. И плюс, в псих-тюрьме ты встречаешься с коллективным бессознательным. Ты видишь предельные ситуации человека, когда что-то глубинное проявляется, общечеловеческое. Отсюда, возможно, мой интерес к Юнгу, Кастанеде, трансперсональной психологии – это уже сейчас пришло.

Мне кажется – это уже немного из другой области – что классические религии возникли на [основе] личной трагедии. Классические религии дают ответ на индивидуальную трагедию. В 20м веке мы пережили феномен тоталитаризма, который выходит за пределы классических ситуаций. Как Сталин сказал: Смерть одного человека – это трагедия, смерть миллионов – это статистика. Это очень умно и цинично. Мне кажется, современная религия должна ответить на этот выпад [неразб.] тоталитаризма. В 1933м году на Украине, за один год, погибло от голода 5-6-7 миллионов человек – никто точно не знает. Это такая мега-смерть, которая выходит за все пределы человеческого. Я думаю, задача современных религий – ответить на эту смерть. Это видимо будет, не знаю, ответ Христианства, ответ других религий... (Пауза)

Ф: [Возвращаясь] к Вашей книге... Один из Ваших друзей сказал, что люди, которые [пошли] на компромисс, были те, кто верили на эмоциональной основе, боролись эмоционально. И когда [на них] было [оказано] большое давление, они пошли на компромисс, Вы помните?

Л: Это то, что я называл истериками, их легко было потом сломать. У них все было построено на эмоциях, и эти эмоции можно было потом использовать, да-да. Ну вот в частности, истерические националисты. Я как раз там о националистах пишу, но не только о них...

Ф: Еще раз о псих-тюрьме… Ваша религия, Ваша вера сейчас [при]дает смысл этому опыту. Вы можете сказать, что этот опыт в [каком-то] смысле позитивный?

Л: Да, что это мне расчистило путь вперед к Богу. Это как со смертью. Для меня псих-тюрьма это уже как-бы смерть. Есть такой Пятигорский в Лондонском университете, он очень хорошо написал с позиции Буддизма о том, что есть виды психологической смерти. Человек может в течение жизни пережить несколько смертей психологических. Я когда у Пятигорского это прочитал, понял, что это действительно было так. Можно сказать, что в каком-то смысле, я умер в псих-тюрьме. И после такой

смерти... Надо либо умирать, либо выходить на новый уровень – это будет ответом на эту смерть – новая жизнь, новое рождение.

Ф: Это был приход ко второму рождению?

Л: Ко второму рождению, в другом духовном качестве. Поэтому все инициации – я сейчас изучаю шаманизм – включают элемент смерти, то есть для того чтобы прийти к Богу, надо умереть в каком-то смысле.

Ф: Я тоже вижу в своей жизни такое. Я думаю, что это обычный человеческий опыт – самые трудные моменты в одном смысле [являются] концом чего-то...

Л: Да, они либо разрушают человека окончательно, либо потом дают [новое начало].

Ф: Последний вопрос: была ли советская система злой?

Л: Да, я уже говорил, и книжка моя, к сожалению, написана с марксистской позиции, о чем я теперь жалею, но я писал таким, каким я был. Я давно уже не марксист.... Но я помню когда мы сюда приехали, очень часто у меня были дискуссии с западными людьми, которые ругали капитализм, западную демократию… И чем дольше я здесь живу, тем больше я вижу все недостатки капитализма. Но мне кажется здесь ‘нормальное’ зло – нормально плохо. Ну вот так как вся наша земная жизнь – в общем плохо. А там как-то абсурдно, бессмысленно плохо. Коммунизм это абсолютно плохо, *по сути своей* плохо. Хотя много было каких-то маленьких позитивов, но фундаментально плохо. И сейчас там тоже плохо – во время перестройки. Там идет мафиозный капитал, ничего общего с демократией нет. Все это очень неприятно, переживать, видеть что под видом демократии там происходит. Но я думаю, что все-таки начинается нормально-плохое. А это было ненормально-плохое. Как с Гитлером. Ведь в конце концом, при Гитлере тоже были какие-то позитивы в Германии, людей морально воспитывали... Но в целом это был какой-то абсурд. Тотальный абсурд. (Пауза) Вот почему мне кажется, что коммунизм – это тотально плохо, это перверсия Христианства, пародия на Христианство.

Ф: О слове совесть иногда в религиозной литературе говорят, что это внутренний голос. У Вас был опыт какого-то внутреннего голоса в течение этих лет или Вам это не близко?

Л: Почему не близко, близко. Только это... (Пауза) Ну пожалуй, это наиболее сильно было как раз в психушке, поскольку я видел, что меня через несколько месяцев, год, два, три, раздушат. Я действительно сойду с ума. Потому что у меня не было Бога, я не видел уже даже особенных мотивов, причин, на чем стоять, на чем противостоять – базы не видел, ради чего я согласен на эту смерть. Ради чего, ради какой идеи? Коммунистической идеи уже по сути не было, никаких других идей не было. (Пауза) А было что-то непонятное: «Вот нет. Я останусь. Я буду. Я не хочу поддаваться этому тотальному шантажу». Вот может быть вот это было. Потом я уже думал над самим словом совесть. Когда я понял, что совесть – это со-весть по-русски, то есть совместная весть. Но весть откуда? Потом, я не помню, то ли у Бердяева, то ли у Франка, то ли у

кого-то из русских философов, это слово рассматривается: совесть – это то, что нас делает людьми, это совместная весть, от Бога. Причем мы не можем сказать, что кто-то – крупные мистики – слышали голос или слово, кто-то не слышал... Но это то, что нас делает людьми. А что это такое – даже определить нельзя.

Ф: Спасибо.

English translation

Part 1.

P: To begin with, can you please say a little about yourself: where you were born, and what childhood impressions influenced you the most?

L: I was born in Kirghizia. Then, before the war, my parents moved to Ukraine. From there, during the war, we had to go back to Kirghizia, then again back to Ukraine. But I always felt that I was born in Ukraine. From a moral standpoint, I think, the biggest impression on me, as I now realise in hindsight, was my grandmother.

P: I've read about it.

L: Yes, my grandmother. She was devoted to the Christian faith. She was, as it was called, a 'vorozhka' (sorceress), a 'sheptookha' (whisperer) – she healed children with prayer. And her image was always there. And even when I, under the influence of my mentors, had become an atheist – a Russified, devoted member of the Komsomol – deep inside, her image was always with me. So, I'd always been very interested in faith, religion, psychology and so on; even when I was an atheist. That was probably one of the very first influences.

P: I remember, I've read about it in your book. Why was it so? Was it because she was a good person or that she talked about fundamental things?

L: When you live in an environment where people come in every night, and she heals and heals them, somehow... Later, having had this explained to me at school, I still saw that it didn't explain in the slightest how she did it. So, I'd always had a keen interest in psychology: how can such things happen? That was something that had stopped me from becoming a downright, mindless atheist. I mean I was an atheist, but I always knew that there was something on a deeper level, below the surface.

P: In your book, where you write about conversations on atheism with your mentors etc., you describe this process, a transition from faith to atheism, but not from atheism to faith.

L: Well, that is because when I wrote the book, I was still an atheist. In the book, I write about my religious reflections, but I wasn't yet a believer; I was progressing. It's just now, in hindsight, after I've come a certain way, I see more clearly the significance of these first childhood impressions for me: my grandmother, the church, and so on.

P: Even while you were an atheist?

L: Yes. I mean, it always had me searching for some cause. At that time, I had assumed that everything could be explained through psychology, which might be unknown to us. That led to an interest in parapsychology, then psychoanalysis – well, it's a relatively common journey: from Marxism through psychoanalysis to spiritual matters. When I arrived here, my friends said: "You think you're a Freudian, but you're a Jungian!"; whereas I hadn't read Jung. (Laughs)

P: While you were an atheist, it was the time when you began participating in the human rights movement and so on; and in your book, you notice – and I think your wife notices it, too – this hostility toward falsehood; and that kind of points, quite strongly, to conscience. Where did this feeling come from?

L: Well, this was a salient moment for us. Say, I was a fairly devoted member of the Komsomol, I trusted everything we were told. I saw that people were not living well, but I believed the explanations, that the war was to blame, the capitalist encirclement… – all the usual explanations. But when we found out that Stalin was a crook – at first it was just rumours, but then people would openly speak of it – and somehow everything had just collapsed at once: the faith in the party, in the government; alongside Stalin, a lot had collapsed. It was then that we realized that we had been deceived. And this was a protest against the fact that we had been deceived, that we had been pawns in someone's cunning game – it was very unpleasant to accept – that you're not a human being but a mere pawn, subject to manipulation. And that was when many people had grown hateful towards falsity. I think that's one of the most important things, and why, in general, the dissident movement is about seeking the truth, the whole truth.

P: Yeah, of course, this is very interesting.

L: People who joined the dissident movement were of various ages and did so for various reasons, but those of my age joined because of the 20th Congress which exposed that we were being deceived.

P: That's interesting. This points at this awareness of falsity, that it wasn't a neutral view on life, but a response to falsehood and deception. (?)

L: There was deception.

P: That's an interesting point. [The fact] that someone was deceiving was important in the creation of that feeling.

L: It's very important, that we were the subject of manipulation, that we were not people, that we're pawns in some enormous game, that we're nothing, we're zero. I think this is even more important than the problem of truth, i.e. the truthfulness of information; it's the problem of not feeling like we were persons. I think that's the most important moral element in the dissident movement that we are individuals, we want to stay individuals, we don't want to be subject to some manipulation. In this way, dissidence, regardless of its tendency – for instance, I was a communist, a Marxist, someone else was an anti-communist, an anti-Marxist – we were all united in our demand for personhood. We were first and foremost persons, and we want to remain persons – to *be* persons.

P: This wasn't entirely clear to me – this is also from your book – having witnessed all this, why did you go down the path of resistance, whereas your friends, for instance, who also saw these things, did not?

L: This appears to be a problem of choice: whether you can or cannot adapt. At first, I went down the Komsomol route, which is to make changes within the party itself. I had lost my faith in the party, but I thought that we were young, we would approach the party and improve it – the kind of reformist approach from the inside. There was an illusion like that… But it turned out – you have read the book, you know of the various attempts to change things from the inside – that every time, you would face an enormous lie. It became

apparent that what you were doing didn't matter because you were still participating in an all-encompassing deceit. At first, I had tried to approach various places, the cavalry, some Komsomol movements, later on I had attempted a bottom-up restructure in a village school... And each time I saw that nothing could be done from the inside, because the whole system was rotten. I had then made an attempt to adapt, decided that I would stay just a mathematician, a scientist, a researcher – it is what's called 'the philosophy of small things' – everyone stays in his place, does his thing, what he can, what he's capable of doing – and this way, everything gets done. But then I saw that wherever you worked, you were still being forced to participate in one great deception. Again, this is the problem of truth, but not in the sense of truthfulness of information, but being true to oneself: "Am I true? Is there something real about me, or am I just as false as everything around me?" Others had sought niches where you could hide and not participate in this overall deceit, that was another option – to stay away from everything; many had chosen that route.

P: I've interviewed people who said exactly that.

L: In the organisation where I worked, in my lab, I was the only Marxist. The rest were anti-Marxists. It wasn't too big a shock for them to participate in falsities, because they already knew it was all a lie, that such were the rules of the game.

P: It's not entirely clear why *you* made this choice? People had been put under significant pressure, and those who'd chosen a more courageous path were very few ... It wasn't, I think, just a problem of choosing one path or another. That may have been due to some sort of inner crisis or discussion? Or maybe not...?

L: Well, personally, I was always interested in the meaning of life, from my school years. I always wanted to solve it, theoretically.

P: Because of your grandmother?

L: It may have been that faith was behind this, it's possible. But there is also the type of people who always ponder the meaning of life, who knows why. But that's if you're talking purely about the personal. Then it became clear that it was not a theoretical problem – the meaning of life – but a practical one, that there was no abstract, theoretical solution to it, life itself exerted meaning. That is, you can't separate these things. This is why I could really relate to Schweitzer who believed that life was a philosophy. But this was later, after I had read Schweitzer, he had somewhat reinforced this point of view.

P: You notice that the Russian/Soviet dissident movement was influenced by the traditions of the Russian intelligentsia, such as the resistance of the 19th century… Talking about your transitioning toward dissidence, do you think it was influenced by this legacy or was it based on your own, individual experience?

L: No, here's the paradox of the Soviet government. Bizarre as it is, while educating masses in the communist spirit and adjusting history accordingly, it provided examples that contradicted it. Which is why certain things were taught at school – after all, not all teachers lied deliberately, they believed it in their own way but also passed certain things on to us – Russian traditions, Ukrainian traditions... Because Ukraine did have its distinctions, Ukrainian traditions, the Cossack tradition, the one of freedom. Which is why in Ukraine there was never really a keenness for a monarchy, or autocratic tendencies, or nostalgia for the past – "Once there was a great Russia..." It was somewhat different over there. But of course, there were traditions there. And because I considered myself a communist, I had at

my disposal certain traditions of the revolutionist intelligentsia, of which we had been taught at school, albeit deceptively. And there were some examples of these freedom-loving revolutionary beginnings, which for a while I had associated with communism. So, it would be impractical to reduce it to purely individual experiences without taking into account the certain kind of education. However, there were those who, upon learning of the lies, had made a choice to cross out everything altogether. I didn't cross out *everything* as a lie. I was at school when I experienced my first crisis following the 20th Congress. I saw how many people had turned cynical, they said: "Everything is a lie. I spit on it. All those morals, those pretty words are a lie." And I had promised myself never to switch from one position to another, but instead to think about transitioning.

P: What positions, specifically?

L: Well, for instance, I was Stalin's devotee. When I realised it was a lie, I saw my friends who had shared the same affiliation but had turned into cynics. I knew it was a position of cynicism, and for me, it was unacceptable. I knew I could switch from one position to the exact opposite, but I had set a goal to never do that.

P: You were aware of this?

L: I was.

P: In what circumstances?

L: Well, for example, when in prison I had begun inclining increasingly towards religion, having religious thoughts, and feelings, I also decided that in time of hardship one reaches out to God for support, as if for crutches, and that this was a disgraceful attitude towards God. So, I decided for myself that if I were to become a believer, I will become so while not in a state of crisis.

P: I wonder how you were able to make that decision – to say that you would only transition from one position to another, and not turn cynical when everyone around you was a cynic; it's a very difficult decision. Maybe it's just a mystery of life, but I wonder why these people became cynics, but you didn't?

L: Well, because I was living in Odessa, actually not in the city itself, but in a suburb. It was a very low social class. And to become a cynic there would be to become a thug, a thief, in other words, a criminal; for women it would mean to resort to prostitution etc. So, this is a very simple decision: you either go rogue or you don't, there were no other options, no prospects.

P: Was it due to your circumstances that you couldn't find a medium?

L: Yes, it was the lowest of social levels and I was always trying to break away from those bowels of society, it was very off-putting.

P: So, in a sense, it wasn't just a moral decision, it was also in your interests?

L: I guess so. I was keen to become a scientist, and at the same time not to become cynical as if nothing mattered in life. Some of my school friends believed that, as they put it, it was all crap. I knew that if I accepted that all around me was crap – merde (French), then life has no meaning. So, it's hard to say whether it was a matter of morality or choice.

P: Of course, it's very difficult. I understand.

L: You can't separate these things. From this point of view, I just didn't want to live in crap (Laughs) It's simple, really.

F : Yes, yes...

L: To live, I think, thinking that everything is trivial, well, then why live at all?

P: Were there moments in your life, whether in prison or before, when you, let's say, felt a strong temptation to lie?

L: There were those. But then, for example, when I decided that I would pursue in a career in science, that I would leave public affairs – I had no interest in them, I still couldn't achieve anything in the area. If I were to be a scientist, I would have to compromise. At first, it seemed like a compromise was possible, to some extent. But then I saw that it was becoming very difficult to do, to lie but do so within the bounds of decency. After the tragic death of the three cosmonauts, for instance, I knew that we shared the blame. Our laboratory had been dealing with the issues surrounding the spacecraft, so our lying had contributed to the tragedy; we were all participating in the creation of this fraudulent system, and I was involved in it, too.

My wife worked in a preschool – it was to do with children's literature – and she was forced to lie there, too. She had to push to ensure that children's books would be published, and she tried keeping the lies to a minimum, but she still had to lie. She didn't like it, so she left and took up toys, thinking that there would be freedom from ideology. But it turned out that she still had to lie, there was no other way. You participate in these lies but eventually reach the limit when you have to say no – you always come to that point. And now, looking back, when I see my friends who had taken either the route of compromise or found a niche where you could hide – back then we argued which was a better path… And I see that some of them, for example, who had thought to themselves: "I will do something very important in my field. Ok, I might have to compromise a little – this is not critical, but at least I will achieve something grand in some field, in art, or science…" And now I read their works… Indeed, unlike us, they've had career opportunities, they've achieved some success. But I read their work, and I always feel sorry for them, that such great talents have been spent on trifles. In the end, they didn't win anything. They believed they would have more opportunities than we did – and that is true, but I read their works – there are some wonderful works there – and every time it feels like, you know, a wine that's gone sour. For me, almost everyone who's gone down the path of compromise is sour wine, is a talent that has failed to express itself.

P: It's an interesting point, of course, because, for example, in religious literature, it's generally noted that when people don't listen to conscience, the conscience kind of loses its sophistication (?), and I think that sophistication and conscience are somewhat inseparable from reason. The quality of reason, the quality of the mind are related to that of moral principles.

L: Yes, you know, I've even got a statement for this: stupidity is a moral quality. A person is a fool due to some moral reasons. He obstructs something within himself, and then, one step after another, it restricts him further and further, until he is made a fool. I recall this in my book when I was asked to join the Communist party, so that I could advance my career within the party, so that the power would be in the hands of smart, honest people who would eventually transform the party from the top. The head of our Institute of Cybernetics,

Glushkov had this idea. He had become a member of the Central Committee of the Communist Party. Our Institute was among the most advanced in Ukraine, thanks to Glushkov and others, and now there is a huge drop-back in computer performance on the territory of the entire Soviet Union, as well as Ukraine. There was no such gap in my time, meaning that Glushkov and others had compromised with their conscience in the name of development of cybernetics – they would command the parade, as members of the Central Committee, they would push science forward, but in the end, Glushkov himself had hindered it; it was his students who told me that he did a lot of harm to science, hindered its development. And eventually, our institute had become reactionary, and not progressive.

P: Did he change as a person?

L: Yes, even when we were discussing this matter, it was clear to me that as I advanced my career in the Central Committee, as they put it, I would gradually lose what I was there for in the first place.

P: You figured that out?

L: Yes, that I would become a scoundrel myself. And when I met with Glushkov – I wanted him to sign my letter of protest as a member of the Academy of the Central Committee – I saw a crook facing me.

I met someone when I was here. He was not from Ukraine, he had fled here. He had made the same decision when he was at school that he would pursue a party career for the benefit of his country. And then he fled to the West. And he explained it to me why he had fled. He had already achieved a very high position – it was in Estonia, and he said that one day he suddenly realised that he had gone there to support his people, but instead he had long been sitting with the enemy, that he was going against his people. And that's why he had to flee.

(Phone call. Recording interrupted)

L: [...] Personally, perhaps in the psychological sense, I am very interested in this process of spiritual transformation.

P: Yes...

L: Before I got arrested, I had already begun writing an article for Samizdat publishers, where I wanted to describe psychological types of the Soviet people – what happens to them psychologically in one situation or another, but I didn't have time to finish it.

P: From my experience, my conscience, as it were, emerges in situations where I do something that makes me feel uneasy. I feel that this is not good, that I should do it differently. Perhaps, it often comes with experience, but I'm curious, were there moments where you had stepped over a line and then thought that you'd gone against your conscience?

L: Well, these situations arose relatively frequently. For example, I described one situation, while I was at university but had not become a dissident yet. I had agreed to snoop on a person from Czechoslovakia. When the KGB had told me to keep an eye on him, I decided to deceive them, to say that I agreed, but of course, I would not spy on this person. Then I realised that you can't play these games. As soon as you start, you get drawn in further.

When as I spoke with the Czech, he immediately hinted to keep an eye on one of the students.

This has occurred even more frequently here, in the West. (Laughs) Because *over there*, bizarrely, it's easier: you choose your stance, and once you've chosen it, you have your conflict of plus and minus, good and evil, black and white. Whereas in the West, it's much more complex than that. Oftentimes you find yourself in a political struggle and you have to compromise, for instance, you have to cooperate with someone you don't think highly of. Or you feel like it is necessary to make a statement, but the opportunity is not there, so you hold off. And then afterwards, you find yourself in an unpleasant situation, it turns out that you should have done it. And you beat yourself up – why did I compromise? Oftentimes, compromising achieves nothing. Even from a purely pragmatic point of view: you do it for the sake of some accomplishment, but in the end, it accomplishes nothing. And all there is, is that you're worse off mentally.

I think that's the great achievement of our movement here in the West was … There were very few of us when we came here, but we've achieved a lot because we didn't lie. It was our only weapon here, the fact that we never lied. As soon as we started playing diplomacy we were losing. As soon as we were getting involved in pragmatic politics, we'd begin to lose.

P: I would like to ask you a more difficult question on this topic ... I had the impression that the love of truth, the dissidents' love of truth was more often expressed in terms of politics, that the moral challenges of life found reference in the political realm: who is the enemy or who isn't... My question is, was this love of truth as strong in the personal lives of the dissidents?

L: Not with everyone. Hardly so. There were times when I saw that a person often lied, lied to their friends, and so on. But since there were so few of us here, what were we to do, break up with our own? That's not good either. Again, this is an issue of pragmatics. I have personally tried not to deal with such people. But of course, there have been compromises. And then it has often turned out badly politically. That is, if a person was deceitful in personal life, it was likely to affect him politically. But again, especially in the West, there have been situations where I wouldn't dare to break up with someone, and then it would turn out badly.

P: From a different perspective, do you sometimes wonder whether those who believed that their loyalty to truth was sincere, were, in fact, mistaken, that it was just their opinions. And opinions can often divide people... I sometimes think that dissidents were so confident in their opinions that they were divided by them when it was unnecessary. Do you understand?

L: There are two words: sincere and truthful. I distinguish between these concepts, you can be sincere, that is, believe in what you say, but be telling untruths all the same.

P: (Laughs) Of course.

L: That would be a sincere person. I usually have respect for people like that, because, at least they act according to what they believe in – that is better than lying. But that's a dangerous thing. One of the reasons of the conflict between the dissidents was this distinction. They would argue among themselves whether it was true or not. There was also an issue of fanaticism: some of the dissidents were just fanatical about this or that idea. For

me personally, man is above any idea. And to be a fanatic of an idea is to be certain that the truth is with you. And there's never a guarantee. That's what I tried to prove to Solzhenitsyn, defending the position of pluralism, to tell him that I accept the absence of absolute truth, that I believe only God knows the absolute truth, no man can claim that with certainty. But this may be because I am a mathematician? I always allow for a degree of uncertainty. But really, there was an element of fanaticism.

Then there was a third issue that divided them among themselves and led to unnecessary disputes. This is a Freudian phenomenon… But oftentimes, say for instance, I do not like this one person, I argue with him about something insignificant... But then it is given an idea, a meaning, even though there is nothing ideological there. And it turns into a very dishonest situation. As for myself, I have tried not to participate in all these squabbles. Often it was unsubstantiated, but those squabbles did take place, of course.

P: From the same topic... In your book, you write about the emergence of nationalist tendencies towards Ukraine... Was your interest in morality related to one of the nation?

L: I started off as a communist internationalist, a Russian-speaking – Russified – Ukrainian. I couldn't see any Ukraine-specific nationalist problems at first. The first problems that I encountered were those that were imminent: the Jewish problem – anti-Semitism, and the problem of the Crimean Tatars. And what was immediately obvious was that there were injustice and dishonesty. In one way or another but those peoples were being repressed. I later learned about the problems of Eskimos, Chukchi, began to better understand the Baltic problem etc. Thus, bizarrely, I discovered the Ukrainian problem way later. When I began to understand what was happening – and is happening – in the area of Ukrainian national politics, it had turned out to be much more complex.

So, it came much later, when the question finally arose, why am I not interested in the problems of my own nation? And I saw that it largely depended on the language. Until I began speaking Ukrainian, I'd never been told to my face: Speak normally to me! So, it had to be experienced first-hand to understand these things. Then again, at that time, I was far from philology, or literature... As a mathematician, I didn't understand the significance of language. It seemed, for instance, what would be the problem if everyone spoke English? Let the whole world speak English, it simplifies things. This was a very primitive, technical attitude. When I met with Ukrainian nationalists and asked them what was the point of preserving the language, what is the benefit, they couldn't answer. So, I began to look for answers myself. And there were also moral impulses when I learned about the famine in Ukraine, that people were being persecuted just for speaking Ukrainian, for defending the right of their nation to exist. It was all interconnected. As a result, it turned out that those were the same impulses as the ones related to anti-Semitism and the deported Crimean Tatars. It's just the difference between the Jewish problem and the Ukrainian one was that if a Jewish person wanted to be Russian, they wouldn't let him. He was told: You are a Jew. If he wanted to be Jewish, he was told: You are a Jewish nationalist. He had no choice. If he wanted to leave, he was told: You are a Zionist. So, a Jewish-Russian – is a no go, a Jewish-Jewish – is a no go, a Jew leaving – is a no go. In any case, he is in the wrong. It's nonsense!

But with Ukrainians it was way simpler […] (Recording interrupted)

Part 2.

L: [...] but nobody asked me... but I believe... and that is why the Ukrainian national problem is much more complex and subtle than the Jewish or the Tatar, because it concerns one's spiritual essence. The issue of nationality is somehow deeply connected with spiritual things which are impossible... I mean, this right to be a person is deeply connected with the right to be Ukrainian, Jewish, or whatever; or not to be. It's still the same issue of self-preservation of the individual.

P: Yes, I agree. I have interviewed a Russian academic who now works for Gorbachev, and he told me how during the 80s he became more concerned with issues of Russian nationalism, and then he also became very religious. I asked him whether his interest in the nation incited his interest in religion. And in fact, oftentimes, for example, Orthodox Christianity is considered a national religion, not pure religion, but a national faith, if you like. But we didn't arrive at a conclusion on that matter, because the boundary between the interest in nation and one in religion is unclear. What I mean is that Ukrainians probably have a very strong faith in Ukraine, for example, and also a great suspicion of Russians. And people perceive this belief as a moral rhetoric, but in fact, it is more a political one.

L: I am very wary of this confusion of national and religious, there is a great danger in mixing these two facets of the human spirit. For us, for the Slavs – this is my general impression – it is very common to merge everything together. For example, the word true, which encompasses three different concepts: truthfulness, fairness, and validity. And these are all mixed into one. And then there's also what I said earlier about sincerity; this is a confused lump. That's where, in my opinion, Western Europe has an advantage of being able to separate these different positions and not lump everything together. So, when people confuse nation and religion, I think, it's a very dangerous path because he then substitutes God with something else, or the nation. But I say to myself that Ukrainians need a Jewish... [inaudible]… a skill to separate these things.

P: But the origin of this tendency – to see good, for example, in the Ukraine nation and evil in another nation, Russian, for example...

L: There is a danger like that. And again, a very important point, for me personally, is that you can't be a nationalist without being an internationalist, and vice versa – you can't be an internationalist without being a nationalist. Any attempt to tear apart – we know two extremes already – the abstract, communist internationalism, which led to nationalism, and Nazism.

P: But have you ever been tempted to see the democratic movement as good, for example, and the [communist] system is evil? As in, adopt this mentality of 'us and them', which is, in some sense, antithetical to a profound moral organisation.

L: Us and them, in what way?

P: Them, the bureaucrats, the nomenclators...

L: And we are the good ones..?

P:... and us. Yes. In a way, your moral stance is to believe that every individual is important and that within himself, there is a struggle between the good and the evil, but in fact, rhetoric creates morality – *they* are evil, and we represent what is good.

L: I think I'm generally quite sceptical, so... No, of course, there have been moments when the world would suddenly uncover and reveal this Manicheist confrontation, we are good, and they are bad. Of course, there have been moments like that. But then reflection would come, and I would look at my comrades and myself and realise that we were not the bearers of absolute good.

P: (Laughs)

L:... and they, in turn, are not bearers of absolute evil – this was their point of view, the communist point of view, that of Manichaeism. We should not be ill with their ailments. When I was in prison, I realised that this Manicheist confrontation was especially dangerous there, because you are already on the defensive, and you reinforce it, as if surrounding yourself with shields, that is a pure confrontation. And I understood that I could become resentful. And then I would become the bearer of evil myself, in response to evil...

P: You realised that while you were in prison?

L: Before the prison. I was really fond of Camus – I quote him in one of my Samizdat works that too long a struggle for justice leads to the disappearance of the motives that bore the struggle in the first place. Later, I found a similar idea in a book by a Ukrainian author. In the story, a priest engages in resistance *out of love*, but turns into a bandit, and in the end, forgets the very word 'love'; well, figuratively speaking....

P: I understand.

L: Well, it's similar. And because I had long been a communist, I'd been trying to understand why communists had changed. I saw this anger, hatred. It was before the arrest.

P: Were there times when you had become bitter?

L: I noticed elements of anger in myself and always prayed for...

P: Can you tell about those moments?

L: Well, that was when the first interrogations took place, for example. They knew that I didn't agree with their position, and they would say: You've gone bitter. And indeed, I had felt bitter. And then I would try to convince myself that they were victims of this regime, that they are not just executioners, but victims at the same time.

P: But people are different, there are some who could have stayed bitter, but you didn't. What inner resources prevented you from this? Because it's quite important…

L: Well, first of all, I was aware of this danger. I had been interested in psychoanalysis; before the arrest. I had studied Freud for two years and had understood the danger of the substitution, that any emotion can be replaced with another. I've published a book in Samizdat about this, have you read it?

P: No, I've seen the book and wanted to read it, it's called *Moral Orientation* in English.

L: I can give it to you, I have it in English somewhere. Here. (Points).

P: Yes, I've noticed.

L: In the book, while I was still a communist, I formulated ... I mean, I had studied Uznadze's Theory of Set – he was a Georgian psychologist. And I realised that if you set your attitude to evil, then that's what you will get. If you have set yourself to expect negativity, then you contribute to the forthcoming of this negativity. If you are a pessimist, then you evoke a negative type of development. For me, the main problem was how this related to pragmatics, and in particular, the problem of Christianity. What is the truth of Christianity, what did Christ achieve, let's say, by turning the other cheek? This is never done in practice, no one turns the other cheek. I know from experience that when you turn the other cheek, oftentimes no good comes out of it, it's better still to use the fists. But if so, then Christianity is a lie. I was trying to understand the truth of Christianity and arrived at the conclusion that, even though it may be unpragmatic, by going down this path, we can evoke a positive development.

So, I had more or less pondered all this before the arrest. Even more so because I had already met some embittered persons in Moscow and Ukraine. In my book, I describe one Chekist (member of 'Cheka' Soviet secret security service) who had served a sentence in prison and hated the whole world. And this brought up a question: what is the difference between his perpetrators and himself? Then there is no difference, what are we fighting for?

Those were experiences of other people. But perhaps on this topic of anger... When I was already here, there was the Congress of Psychiatrists in Honolulu. And I spoke at this congress as a witness. I saw my perpetrators defeated, and I had a moment of evil joy: There, you've been defeated…

(Phone call. Recording interrupted)

L: […] It's in English here...

P: Oh, yes. In English it is 'The case of..'?

L: Yes, yes.

P: I haven't read it.

L: If you want to read it, there are two or three mistakes there that have been made in Samizdat. (Laughs) They ought to be corrected otherwise the ideas get distorted. (Pause)

One of the definitions of the dissident movement is moral resistance. I think this is very accurate, because we weren't revolutionaries in the classic sense of the word. And almost none of us had thought that communism could burst like this. So, it had seemed hopeless, a battle heading for failure, because communism was standing very strong. And we were no

revolutionaries, so what would we win in this fight? And the most important thing we would win, I think, was our own souls.

In prison – I write about this in my book – it all seemed very simple: you just had to put your signature and agree with what the doctors were insisting on. I would have had to agree that I was, indeed, insane, that my actions were wrong, and to promise that I wouldn't do it again. As a matter of fact, I had pondered this option and I was prepared to go for it – to retreat into my private life, so that it wouldn't destroy my family and everything else… But then it became clear that they would ask for more, that I betray my comrades, denounce other people... In this case, I would have crossed myself out. I would have saved my life and freedom, but what would I have got from it? I wouldn't respect myself. I would have lost my friends, my family… What would I have gained as a result of betrayal? Nothing. So, I was aware of this. Yeah, they would kill me, but I'm losing myself either way.

P: You were cognizant of these things?

L: I was evaluating, yes.

P: It must have been a very bitter time when you were in prison?

L: In the psych ward. That was probably the scariest thing. It was the scariest thing.

P: Why was it so scary, because of the drugs or..?

L: Yes. It just felt like degradation. I felt like my personality was degrading, and I was turning into a senseless log. (Knocks on wood) Later, an American psychiatrist confirmed it that with such treatments, there was a risk of chemical transformation. But again, I wasn't a fanatic of some moral principles. I simply tried make a sensible choice, to weigh up how much I could compromise. And I realised that it was impossible to achieve a compromise.

P: How did you deal with fear? Because fear can change rational views...

L: Well, my interest in human psychology had helped me. I tried to analyse my own fears. After I had moved over here, for a long time there was still fear, deep inside me. For another two years or so, there was this irrational fear, and I had to fight it, having already moved here.

P: You got used to living with fear?

L: Yes. Fear hidden in my soul, fear that had been driven in there and that I may not even have understood. It lasted for another two years or so.

P: Interesting.

L: I have a photograph of myself on a plane – a journalist took a picture of me. My face looks frightened. So, it's subconscious.

P: You sometimes describe Solzhenitsyn's work in your book. It's clear that he had influenced the dissident movement, but how important do you think were his ethical phrases, such as 'live not by lies'?

L: For me personally, not very important. He was important to me because he had formulated what we all came up to but hadn't yet articulated. Say, for instance, his *Live Not by Lies*… I prefer the expression of Ukrainian writer Vinnichenko – *Honesty with oneself*.

P: Is he a modern writer?

L: No, he was one of the leaders of the Ukrainian Republic. Lenin wrote about him that he was an arch-reactionary imitator of the arch-reactionary Dostoevsky.

P: (Laughs)

L: He was a very good, finely attuned psychologist, he wrote a novel *Honesty with Yourself*. His protagonist preaches that first of all you have to be honest with yourself – it is better to lie to someone else than to yourself. It seems this is a more important principle than Solzhenitsyn's live not by lies, because the most important thing is not to lie to yourself. Don't lie at least to yourself! Don't fool yourself, don't create illusions. It's the same problem of being sincere.

I mean no, Solzhenitsyn's principles expressed quite well a lot of what we had thought. And for me, too. The disappointment in Solzhenitsyn came later, but that's another story. During that period, in my opinion, he had played a very important role, precisely because he was a great writer. I have written twice about Solzhenitsyn and tried to argue with him from his own position. When he wrote about pluralists, I told him that he was being unfair towards his opponents: he had made a clear differentiation between us and them…

P: Yes, that's true...

L: ...Us and them. And in particular, it is them, the pluralists, they are so-and-so... But he does not distinguish between us. Because pluralists are in disagreement with each other, there isn't one point of view, pluralists can be very different, this is the point of pluralism. But Solzhenitsyn had put us all into one camp – it's them, they're no good, etc... He had even attributed quotes from one pluralist to another. I mean, he just doesn't make a distinction. It seems to me that, *in this respect*, Solzhenitsyn is not a dissident, because he does not accentuate *the individual*, he accentuates the group. And for me, this is a backward outlook, a non-European position. Because to me, Christianity is primarily a religion of the individual, it is a personal religion, not an ancestral, not a national religion. On the one hand, it is all-inclusive, on the other hand, a personal religion. And to me, Christ conveys the essence of individuality. And there is no individuality for Solzhenitsyn, which is why it's always us – them, us – them... Therein lies the argument with Solzhenitsyn.

P: I will be speaking at a conference in April on the topic of religious experience and heritage of the Soviet dissidence, and what interests me is whether all these years of dissident activism, emigration, etc., can be viewed from a different point of view, through religion, that they were all, in a way, a path to God...

L: For me personally, yes. Indeed, I experienced... I had a principle which I had adopted even before my arrest, that there is nothing negative that one cannot turn into something positive.

P: Yes, it's a biblical phrase...

L: And for a long time, I couldn't turn my experience of the psychiatric ward into a positive one. It was an absolute negative, a sheer nightmare. It was zero, it wasn't life. I didn't get anything good out of it, only horror. In the prison itself, I gained a lot for myself. I thought a lot, it was a positive experience, the prison was. But not the psych ward. A few years had passed, and I could still see that I hadn't gained anything from it for myself. For a long time, it had puzzled me that I couldn't make it work, it was just horror.

But when I began to approach God, I realised that this could be the answer to my experiences of the psych ward. When I had found God, that was my positive experience – that was what I had gained from the psych ward. That was my path, my stimulus, as it were. (Pause) Let's just say, if there is an absolute minus, complete darkness, then the exit from there is only to an absolute light. And to me, that is God. Because if there is no God – this is something that I have long understood – then everything is meaningless.

P: So, the psychiatric ward had not led you to God?

L: God was like a response to it.

P: But that doesn't give it meaning...

L: To the psych ward itself?

P: Yes.

L: The ward had revealed that everything was meaningless… *If* there was no God.

P: You came to that conclusion during *that* time?

L: No. While I was there, there was only resistance to stay human. That was the only thing.

P: Are you a believer now?

L : Yes.

P: Does this experience imply that if there is no God then everything is meaningless?

L: It pushed me towards God. That negative experience has led to God.

P: Do you think maybe God used this experience as a path to Him?

L: I never dare to talk for God what He does. I don't know what He does. (Both laugh) Through this experience, I realised that without God, everything is meaningless.

P: But that was after the ward?

L: I was thinking about it while I was in prison, I was approaching it. In the psych ward, I wasn't doing anything, I was only resisting. I wanted to stay myself, it was important for me to save myself, and nothing else. And afterwards, there was a thought. Besides, in the psych ward you confront the collective unconsciousness. You experience being pushed to the limits, that is when something deep and profound comes through. My interest in Jung,

Castaneda, and transpersonal psychology may have come from there, but that is more recent.

It seems to me – I digress slightly – that traditional religions are grounded in personal tragedy. They give answers to a personal tragedy. In the 20th century, we had lived through a phenomenon of totalitarianism which went beyond the traditional. As Stalin said: “The death of one person is a tragedy. The death of millions is a statistic.” It's very clever and cynical. I think religions ought to respond to this thrust of totalitarianism. In 1933, 5-6-7 million people – no one knows for sure how many – died of starvation in Ukraine, in one year. This is such a monumental death that it goes beyond all boundaries of humanity. I think the task of modern religions would be to respond to this death. It would probably be, I don't know, a response of Christianity, a response of other religions... (Pause)

P: Going back to your book... One of your friends said that people who had compromised were those whose beliefs were founded on emotions, they believed emotionally. And when they had been put under great pressure, they compromised. Do you remember?

L: Those were what I called neurotics; they were easy to break. Everything was built on emotions for them, and those emotions would then be easily abused, yes. Particularly, the neurotic nationalists. I wrote about nationalists in there, but not just about them...

P: Once more about the psychiatric ward… Your religion, your faith now gives meaning to this experience. Can you say that this experience is, in a sense, positive?

L: Yes, that has cleared the path to God for me. It's like with death. For me, the psych ward was like death. There is someone by the name Pyatigorsky at the London University. He has written very well from the position of Buddhism that there are types of psychological death. One can survive several psychological deaths during one’s lifetime. When I had read it, I realised that this indeed had been the case. You could say that, in a sense, I died in the psych ward. After a death like that, you either die completely or you progress to a new level – the answer to this death would be a new life.

P: Was this an initiation for second birth?

L: Towards a second birth in a different spiritual capacity. Which is why all initiation rituals – I'm studying shamanism at the moment – include an element of death. So, in order to come to God, you have to die, in a sense.

P: I see this in my life too. I think it's a common human experience when the hardest moments become, in a sense, an end of something...

L: Yes, they either destroy one completely, or become a new beginning.

P: Last question: Was the Soviet system evil?

L: Yes, I have said it before, and my book, unfortunately, is written from a Marxist perspective, which I now regret, but I wrote it the way I was back then. I'm no longer a Marxist... But I remember when we came here, I often had discussions with Westerners who would criticise capitalism, and the Western democracy… And the longer I live here, the more

I see all the shortcomings of capitalism. But I think here, it's 'ordinarily' evil, i.e. normally bad, as bad as our whole earthly existence. And over there, it's absurdly, pointlessly bad. Communism is totally bad, *essentially* bad. Despite many small positives, fundamentally it was bad. And now it's bad there also, during perestroika. The finances are in the hands of the mafia; it has nothing in common with democracy. It is very unpleasant to watch what is going on under the guise of democracy there. But I think it's going to be normally-bad soon. And before, it was abnormally-bad. Like with Hitler. Because in the end, under Hitler there were some positives in Germany too, people were educated virtuously... But overall, it was absurd. Total absurdity. (Pause) That's why it seems to me that communism is utterly bad, it's a perversion of Christianity, a parody of Christianity.

P: In religious texts, it is sometimes said that conscience is one's inner voice. Have you had an experience of such voice during these years, or this isn't close to you?

L: It is close, why not. Only it is... (Pause) Well, I guess it was strongest in the psych ward. Because there, I saw that in a few months, a year, two-three, I would lose my soul, I would lose my sanity. And because I had no God, I didn't have any motives or reasons, what to stand on, why to resist – I didn't see the premise for this death. What for, for what idea? The communist ideas had essentially disappeared, and no other ideas had come. (Pause) And yet, there was something incomprehensible: "No. I'll stay. I shall remain. I don't want to give in to this blackmail." Maybe that's what it was. Later on, I was pondering the word conscience itself. When I realised that conscience (so-vest') is a 'co-message', a communal message in Russian. But a message from where? Later still, I don't remember whether it was Berdyaev, or Frank, or one of Russian philosophers who investigated 'conscience', but it was said to be that which makes us human, it is a communal message, from God. And we cannot say that some major mystics have heard this voice, and others haven't... But that's what makes us human. Whereas what it is in itself, one can't ever define.

P: Thank you.

(End of interview)